



# Юрий Олеша

Воспоминания  
и публицистика  
сборник

*ФТМ*



# Юрий Карлович Олеша

## Воспоминания и публицистика

*Текст предоставлен правообладателем*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=42718452](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=42718452)*  
*Воспоминания и публицистика: ФТМ; Москва; 2019*  
*ISBN 978-5-4467-0243-5*

### **Аннотация**

В наследии Юрия Олеша публицистика занимает важное место, писатель дорожил критическими статьями, считал их «близкими к самому главному в своем художественном творчестве». Воспоминания о современниках, статьи о русских и зарубежных писателях и театральных деятелях, творчество которых он особенно ценил, рецензии на художественные произведения и спектакли раскрывают искания автора, отражают внутренний мир и гражданскую позицию Юрия Олеша.

# Содержание

Воспоминания	4
Эдуард Багрицкий	4
Об Ильфе	18
Встречи с Алексеем Толстым	27
Конец ознакомительного фрагмента.	36

# Юрий Олеша

## Воспоминания и публицистика

### *Сборник*

## Воспоминания

### Эдуард Багрицкий

В 1915 году в Одессе был издан ряд поэтических альманахов. Я помню три названия: «Серебряные трубы», «Авто в облаках», «Чудо в пустыне».

В одном из них было напечатано стихотворение Эдуарда Багрицкого «Суворов».

В нем были такие строки:

В серой треуголке, юркий и маленький,  
В синей шинели с продранными локтями,  
Он надевал зимой теплые валенки  
И укутывал горло шарфами и платками.

В те времена по дорогам скрипели еще дилижансы

И кучера сидели на козлах, в камзолах и фетровых шляпах;  
По вечерам в гостиницах веселые девушки пели романсы,  
И в низких залах струился мятный запах.

Когда вдалеке звучал рожок почтовой кареты,  
На грязных окнах подымались зеленые шторы,  
В темных залах смолкали нежные дуэты  
И раздавался шепот: «Едет Суворов!»

Это стихи восемнадцатилетнего поэта. Мне и теперь они кажутся замечательными по ритму, лиричности и вкусу, с которым они написаны. Так начинал Багрицкий.

Он жил на Ремесленной улице, в затхлой еврейской квартире, с громадными комодами среди темных углов... Это было очень неудобное, мертвое жилище:

Еврейские павлины на обивке,  
Еврейские скисающие сливки,  
Костыль отца и матери чепец  
Все бормотало мне:  
– Подлец! Подлец!

Так он изобразил свое детство впоследствии в страшном стихотворении «Происхождение». Когда он лежал в больнице, перед смертью, в последнюю свою ночь, он сказал сиделке: «Какое у вас лицо хорошее, – у вас, видно, было хорошее

детство, а я вспоминаю свое детство и не могу вспомнить ни одного хорошего дня».

Какое ж надо было иметь замечательное дарование, чтобы, вспоминая детство, в котором не было ни одного хорошего дня, сказать о нем так:

Стучал сазан в оконное стекло;  
Конь щебетал; в ладони  
Ястреб падал;  
Плясало дерево,  
И детство шло.

Как это хорошо сказано – в чисто поэтическом смысле, в смысле применения метафоры – о коне, что он щебечет, и о дереве, что оно пляшет.

Я долго дружил с Багрицким. Он был для меня просто Эдька. Мы все немножко подтрунивали друг над другом, все не слишком серьезно относились друг к другу, – я говорю о группе поэтов: Катаев, Багрицкий, я, Зинаида Шишова, Адалис, впоследствии Кирсанов. Мы все не слишком уважали друг друга. Я, конечно, всегда знал, что Багрицкий первоклассный поэт, но теперь я как-то по-новому прочел его книги, и в них обнаружили для меня совершенно исключительные вещи.

Любовь?

Но съеденные вшами косы;

Ключица, выпирающая косо;  
Прыщи; обмазанный селедкой рот  
Да шеи лошадиный поворот.

Так, ненавидя прошлое свое и все, что в нем было, – в данном случае женщину, – каким страшным увидел это прошлое поэт! Нельзя подобрать более страшного образа, чем съеденные вшами косы.

Зеленый огонь на щеке,  
Обвисли косые усы,  
Зрачок в золотом ободке  
Вращается, как на оси,

так Багрицкий описал карпа. Можно приводить без конца строки. Например, начало припадка астмы:

...Тишина.

Солнце кипит в каждом кремне,  
Но глухо, от сердца, из глубины,  
Предчувствие кашля идет ко мне.

И сызнава мир колюч и наг  
Камни – углы и дома – углы,  
Трава до оскомины зелена,  
Дороги до скрежета белы.

Умение найти единственное, нужное для данного случая

слово достаточное и необходимое – есть умение, принадлежащее только высокому мастеру.

Так Багрицкий определил максимальность зелени – оскоминой и максимальность белизны – скрежетом. И все это в плане всего стихотворения, где описывается припадок астмы: оскомина, скрежет.

Когда мы были молодыми, Багрицкий, такой же молодой, как мы, пропагандировал среди нас хорошую поэзию. Мы впервые слышали от него стихи Иннокентия Анненского, Пастернака, Асеева, Петникова, Хлебникова, Ахматовой, Вячеслава Иванова, Белого, Гумилева, Клюева, Нарбута, Мандельштама. Маяковский, который долгое время был непонятен нам, стал доходить до нас благодаря работе над нами Багрицкого. Он всегда был прекрасным чтецом. Мы впервые слышали от него так называемое поэтическое чтение стихов, которое буржуа называли подвыванием. Теперь никто не спорит против этой исключительной значимости для стихов манеры чтения. Многие превосходные актеры говорили мне, что чтение поэтами собственных стихов поразительно по ритмичности и темпераменту и что никакой актер не прочтет стихов так, как читает их поэт. В особенности так, как их читал Багрицкий. Он преображался. Начинали сверкать глаза. Он как-то запрокидывал голову, как бы захлебываясь и протягивая руку с несколько неправильно выдвинутым пальцем.

Багрицкий знал наизусть бесконечное множество стихов –

старых поэтов, современников, русских и иностранных. Вообще знание литературы и богатство его памяти в этом отношении было поразительно. Читатель он был страстный. Любовь к чтению продолжалась до последних дней. Как и у всех нас, у него были свои золотые книги. Золотой книгой его был Стивенсон. Никогда нельзя было успеть что-нибудь показать ему. Все лучшее он находил первым. Летом 1933 года я позвонил ему: «Прочти „Охотников за микробами“ Поля де Крюи». И, конечно, больше всего ему понравилась история шлифовальщика линз Антона Левенгука, который изобрел микроскоп.

Я теперь вижу: жизнь Багрицкого была очень самостоятельной жизнью. Он резко отличался от нас всех. Главным свойством его была скромность. Ему всегда казалось, что он пишет недостаточно хорошо, он никогда не хвастал. Мы спрашивали: «Ну, как твои рыбки, Эдя? Как твои птички?» В этом был шуточный оттенок, а оказалось, что среди натуралистов Багрицкий считался знатоком, крупной фигурой. Оказалось, что только у него имелась единственная во всей Москве немецкая ихтиологическая книга. Я однажды пришел к нему. Сидел Багрицкий и какой-то человек, никакого отношения не имевший к поэзии, по виду рабочий. Они сидели над этой единственной книгой – два разных по возрасту и сущности человека, объединенные одним фанатизмом.

У Багрицкого была астма. Чем далее, тем все меньше оставалось у него возможности двигаться, пространство вокруг

него сужалось – увидеть мир он не мог. И эти аквариумы, которые стояли у него в комнате, были его океанами. Там плавали рыбы в освещенных прожекторами зеленоватых пространствах. Эти рыбы были похожи и на птиц, и на цветы, и на какие-то фантастические снаряды. Сидел рыболов перед этими светящимися кубами – большой, сидел по-турецки на кровати, согнувшись, покашливая, большеголовый, с серой сединой, в синей байковой блузе – и смотрел. Он видел путешествия, которых не мог совершить. Видел берега и воды недостижимых для него стран. Эти страны сами пришли к нему, потому что он был поэт и, как поэт, обладал волшебным умением обобщать.

Он кормил своих рыб циклопами. Это такие маленькие существа – рыбий корм. Зимой домработница шла с сачком на Чистые пруды и выуживала для него из проруби циклопов, которых называла стеклопами.

Это была очень самостоятельная, странная, неповторимая жизнь. От начала и до конца. По существу и по форме. Человек никогда не жаловался на болезнь – ни наяву, ни в своем творчестве. Человек сумел соединить свою болезнь с образом победы в удивительном стихотворении «ТБЦ». В припадке астмы кажется ему, что Феликс Дзержинский сходит к нему с портрета и разговаривает с ним:

Да будет почетной участь твоя –

Умри побеждая, как умер я.

Этот человек никогда не был грустным. Не то что грустным, но не был никогда невеселым. Как он замечательно острит! Остроты иногда бывали чудовищны по построению и ходам, но всегда своеобразны, неожиданны и необычайно талантливы. К себе он относился с предельной жестокостью. Он сделал то, чего не сделал бы ни один литератор. Он написал три большие поэмы, и, до того как вышла книжка, он не напечатал ни одного отрывка. То есть отказался от большого заработка. «Не будешь нигде печатать в журналах?» – «Нет». – «Почему?» – «Я хочу, чтобы сразу вышла книга». Тут я вижу главное, что должно быть в поэте: незаинтересованность в личном благополучии. Этот красивый человек никогда не мечтал об одежде. Я никогда не видел его в пиджаке, в костюме. Он носил блузу, сшитую ему женой. Зимой он выходил в тулупе. Он мог бы выглядеть очень элегантно, если бы надел штатский костюм.

Мы очень часто вспоминаем удивительные жизни поэтов. Жизнь Виллона, Байрона, Эдгара По, Артюра Рембо. Нас восхищают подробности этих биографий, их странность, необычность, их близость к вымыслу. А ведь жизнь Багрицкого была сродни жизни этих поэтов. Это была жизнь артиста в самом чистом, волнующем и величавом смысле этого слова. Почти детская мечта о силе, о воинственном, о саблях.

У него был друг, командовавший корпусом в Граждан-

скую войну. Комкор подарил поэту саблю. И поэт, который не мог несколько минут обойтись без вдыхания астматолола, с восторгом воспринимал вид этой сабли. Он был влюблен в бойцов.

Вот строки из поэмы «Последняя ночь»:

Погибших товарищей имена  
Доселе не сходят с губ.

Их честно память хранят холмы  
В обветренных будяках,  
Крестьянские лошади мнут полынь,  
Проросшую из сердец,  
Да изредка выгребают плуг  
Пуговицу с орлом.

Я не могу вспомнить более величественных строк, посвященных мужчине, солдату, чем эти строки поэта, окруженного коричневыми от лекарств ложками и обреченного болезнью на детскую беспомощность.

Когда-нибудь в прекрасные дни победивший пролетариат оглянется на прошлое – то есть в наши сегодняшние дни, – и фигура поэта Эдуарда Багрицкого ярко засияет в этом прошлом, потому что это был человек чистый, неподкупный, родившийся в мире частной собственности и сумевший стать поэтом революции, учителем молодых, восторженным поклонником тех, кто возносил из настоящего это прекрасное

будущее, – поэт, сказавший:

Нас водила молодость  
В сабельный поход,  
Нас бросала молодость  
На кронштадтский лед,

Боевые лошади  
Уносили нас,  
На широкой площади  
Убивали нас.

Но в крови горячечной  
Подымались мы,  
Но глаза незрячие  
Открывали мы.

Возникай, содружество  
Ворона с бойцом,  
Укрепляйся, мужество,  
Сталью и свинцом,

Чтоб земля суровая  
Кровью истекла,  
Чтобы юность новая  
Из костей взошла.

Это так говорится:

Богемец, пришедший к революции.

Это так говорится:

Багрицкий сумел преодолеть...

Но это такая трудная жизнь – родиться в затхлой мещанской квартире, читать Кузьмина, писать газеллы о «гашише в тиши вечерних комнат», чувствовать в себе дар, то есть мечтать о славе, и затем, отказавшись от всего, увидеть новое значение вещей.

Может быть, Эдуард Багрицкий – наиболее совершенный пример того, как интеллигент приходит своими путями к коммунизму.

Я считаю, что лучшее из того, что написал Багрицкий, есть поэма «Последняя ночь». Эта поэма о поколении тех, кому сейчас тридцать пять лет. Поэма о «печальных детях», через которых прошла трещина мира.

Выстрел гимназиста Принципа, направленный в эрцгерцога Фердинанда, убил все то, что было «благополучием мира». От этого выстрела – как в тире повернулась и изменилась вся картина жизни, понятия о родине, об истории, обо всем, что составляло установившееся среди отцов и дедов отношение к миру.

Началась мировая война. Когда раздался этот выстрел, Багрицкому было семнадцать лет. Последняя ночь мира совпала с первыми ощущениями себя поэтом:

Мне было только семнадцать лет,  
Поэтому эта ночь  
Клубилась во мне и дышала мной,  
Шагала плечом к плечу.

Я был ее зеркалом, двойником,  
Вторую вселенной был.  
Планеты пронизывали меня  
Насквозь, как стакан воды,

И мне казалось, что легкий свет  
Сочился из пор, как пот.

Эту гениальную поэму оставил Багрицкий – как памятник  
своему поколению. Там есть такие строки:

Была такая голубизна,  
Такая прозрачность шла,  
Что повториться в мире опять  
Не может такая ночь.

Так верили печальные дети в то, что буржуазный мир от-  
цов и дедов благополучен и прекрасен.

Но затем поэт говорит:

Печальные дети, что знали мы,  
Когда у больших столов

Врачи, постучав по впалой груди,  
– Годен! – кричали нам...

Печальные дети, что знали мы,  
Когда, прошагав весь день  
В портянках, потных до черноты,  
Мы падали на матрац.  
Дремота и та избегала нас,  
Уже ни свет ни заря  
Врывалась казарменная тишина  
В отроческий покой.

Недосыпая, недолюбя,  
Молодость наша шла.

Так поняли печальные дети ложь и подлость буржуазного мира.

Когда-то, очень давно, Багрицкий рассказывал мне об одном своем замысле. «Представь себе... Летучий Голландец... он входит в харчевню. Деревянный стол. Девушка. Он кладет на стол розу. И вдруг все видят: начинается превращение розы... Сквозь нее проступают очертания города... Люди видят город...»

Я не помню, что рассказывал он дальше... Когда мы хоронили Багрицкого, я вспомнил эту импровизацию замечательного романтика. Ведь это же и есть сущность искусства – эти превращения!

Ведь это же и есть сила искусства – превратить материал

своей жизни в видение, доступное всем и всех волнующее...

Я понял, каким удивительным поэтом был Багрицкий, уже с молодости схваченный за горло болезнью, сумевший трудный материал своей жизни превратить в жизнерадостное, поющее, трубящее, голубеющее, с лошадьми и саблями, с комбригами и детьми, с охотниками и рыбами, видение.

Багрицкий был поэтом жизнерадостности большевизма, и оттого так высоко подняла его гроб страна.

Когда он был молодым, он работал в РОСТА, писал стихи для плакатов. Это было время трудное, голодное. Багрицкий был молод и голоден, и он писал поэму «Трактир». В ней рассказывается, как умер от голода поэт и как пришел за ним ангел и провел поэта не в рай, а в трактир, где были не голуби, а чайники и где поэт наконец поел на славу. Так исполнились мечты поэта.

Когда умер Багрицкий, его тело сопровождал эскадрон молодых кавалеристов. Так закончилась биография замечательного поэта нашей страны, начавшаяся на задворках жизни, у подножия трактиров на Ремесленной улице в Одессе, и в конце осененная красными знаменами революции и фигурами всадников – таких же бойцов за революцию, каким был сам поэт.

# Об Ильфе

Ильф и Петров совершили путешествие по Соединенным Штатам Америки и написали о своем путешествии книгу под названием «Одноэтажная Америка».

Это превосходная книга.

Она полна уважения к человеческой личности. В ней величаво восхваляется труд человека. Это книга об инженерах, о сооружениях техники, побеждающих природу. Это книга благородная, тонкая и поэтическая. В ней необычайно ярко проявляется то новое отношение к миру, которое свойственно людям нашей страны и которое можно назвать советским духом. Это книга о богатстве природы и человеческой души. Она пронизана возмущением против капиталистического рабства и нежностью к стране социализма.

Один из авторов этого прекрасного произведения умер. Умер Ильф. Умер замечательный писатель, мастер, тонкий и мудрый человек, первоклассная величина в развитии нашей культуры. Он умер молодым, только начав входить в силу, умер живым, полным замыслов и желаний.

Я хорошо знал Ильфа и хочу поделиться с читателями воспоминаниями о нем.

Я познакомился с Ильфом в 1920 году, в Одессе. Опять, как после смерти Эдуарда Багрицкого, по печальному поводу память возвращается к прекрасным дням юности – к

Одессе, к времени, когда вся наша группа одесситов только начинала работать.

Существовал в Одессе в 1920 году «Коллектив поэтов». Это был своего рода клуб, где, собираясь ежедневно, мы говорили на литературные темы, читали стихи и прозу, спорили, мечтали о Москве. Отношение друг к другу было суровое. Мы все готовились в профессионалы. Мы серьезно работали. Это была школа. Мы равнялись на Москву. Слава ее докатывалась до нас, волнующие слухи о Блоке, о Маяковском. Однажды появился у нас Ильф. Он пришел с презрительным выражением на лице, но глаза его смеялись, и ясно было, что презрительность эта наиграна. Он как бы говорил нам: я очень уважаю вас, но не думайте, что я пришел к вам не как равный к равным, и вообще не надо быть слишком высокого мнения о себе – ни вам, ни мне, потому что, какими бы мы ни были замечательными людьми, есть люди гораздо более замечательные, чем мы, неизмеримо более замечательные, и не нужно поэтому заноситься.

Этот призыв к скромности и корректному пониманию собственных совершенств исходил от Ильфа всегда.

Ильф поразил всех нас и очень нам понравился.

Он прочел стихи. Стихи были странные. Рифм не было, не было размера. Стихотворение в прозе? Нет, это было более энергично и организовано. Я не помню его содержания, но помню, что оно состояло из мотивов города, и чувствовалось, что автор увлечен французской живописью и что ка-

кие-то литературные настроения Запада, неизвестные нам, ему известны. Сохранились ли эти стихи Ильфа? Уже в этих первых опытах проявилась особенность писательской манеры Ильфа – умение остро формулировать, – особенность, которая впоследствии приобрела такой блеск.

Ильф был чрезвычайно сдержан и никогда не говорил о себе. Эту повадку он усвоил на всю жизнь. Он придумал себе псевдоним – Ильф. Это эксцентрическое слово получалось из комбинации начальных букв его имени и фамилии. При своем возникновении оно всех рассмешило. И самого Ильфа. Он относился к себе иронически. Это был худой юноша, с большими губами, со смеющимся взглядом, в пенсне, в кепке и, как казалось нам, рыжий. Он следил за своей внешностью. Ему нравилось быть хорошо одетым. В ту эпоху достигнуть этого было довольно трудно. Однако среди нас он выглядел европейцем. Казалось, перед ним был какой-то образец, о котором мы не знали. На нем появлялся пестрый шарф, особенные башмаки, – он становился многозначительным. В этом было много добродушия и любви к жизни. К несерьезному делу он относился с большой серьезностью, и тут проявлялось мальчишество, говорившее о хорошей душе.

Ильф любил книги о спорте, о морских сражениях. Много зародившихся в детстве желаний он нес сквозь жизнь свежими, непотухшими.

Представлял ли он свое будущее как будущее писателя?

В те годы он обнаружил уже острую наблюдательность. Обо всем он говорил метко. Порой нежнейшая лирика и грусть звучали в его словах. Он писал мало. Он как бы и не стремился к большой писательской работе. О том или ином явлении, обстоятельстве, об отдельных личностях он высказывался с бесподобным остроумием, и получалось впечатление, что большего ума и не нужно, что этой игрой вполне удовлетворяется его потребность в художественной деятельности. Он чрезмерно строго судил о себе. Произведения искусства, которые он уже в ранней юности успел выбрать в качестве образцов, успел оценить и полюбить, были так высоки, что собственные возможности представлялись ему шуточными.

В Москву Ильф приехал в 1923 году. Мы жили с ним в одной комнате. Маленькая комната при типографии «Гудка» на улице Станкевича. Мы работали в «Гудке».

Работа наша состояла в том, что мы правили рабкоровские письма. Ильф был «правщиком». Так называлась его должность по штату. Письму рабкора нужно было придать литературную форму. Ильф проявлял свое оригинальное и блестящее дарование. Заметки, выходявшие из-под его пера, оказывались маленькими шедеврами. В них сверкал юмор, своеобразие стиля. Это было в полной мере художественно. Делалось это легко, изящно. Создание каждой такой заметки было веселым и захватывающим событием для всего коллектива редакции. Менее всего можно было назвать эту рабо-

ту бездушной, будничной газетной работой, это было творчество, мастерство, полная жизнерадостности деятельность художника, пробующего свои силы.

Против кого были направлены эти заметки?

Против бюрократов, плохих хозяйственников, подхалимов, тупиц.

Ильф как бы делал подмалевки для будущей большой картины.

В «Гудке» произошла встреча Ильфа с Евгением Петровым. Петров тоже был правщиком. Родилась идея о совместной работе над романом. И роман был написан – «Двенадцать стульев».

Все знают, какой огромный успех имел этот роман. В короткий срок два молодых автора приобрели известность в СССР и за границей.

В мою задачу не входит критический разбор книг Ильфа и Петрова.

Мне только хочется сказать, что когда близко знаешь человека, называешь его по имени, то личность его и деятельность в твоих глазах представляется порой меньшей, чем это есть на самом деле.

Какая черта была главной в душе Ильфа? Какая склонность являлась характерной для него? Чем он жил?

Я много лет прожил с ним вместе. Ильф называл себя зевакой. «Вы знаете: я – зевака! Я хожу и смотрю». Детское слово – «зевака». Похожий на мальчика, вертя в разные сто-

роны головой в кепке с большим козырьком, заглядывая, оборачиваясь, останавливаясь, ходил Ильф по Москве. Он ходил и смотрел.

В «Одноэтажной Америке» сказано о любопытстве, что это замечательное человеческое свойство.

И, вернувшись домой, Ильф рассказывал о том, что он видел. Это был не простой зевака. Он делал выводы из того, что видел, он формулировал, объяснял. Каждая формулировка была пронизана чувством. Это был журналист в самом высоком смысле этого слова, если говорить о журнализме как о деятельности, сопряженной с участием в перестройке мира.

Ильф ненавидел тупость, издевался над дураками, над организаторами нелепостей, мешающими строительству новой жизни.

Увидеть и оцепить – это было его пафосом. Восхититься, удивиться, рассказать.

Он возвращался домой и рассказывал. Несколько фраз, точнейшие и неожиданнейшие эпитеты.

Лучше всего он говорил о детях. О мальчиках. Они особенно привлекали его внимание – их проделками, любовью к машинам, любознательностью, независимостью и важностью.

Класс журнализма Ильф показал в тех фельетонах, которые в соавторстве с Петровым он писал для «Правды».

Ценность и значение современной литературы зависит именно от наличия в ней журналистской природы. Хемингу-

эй и многие другие крупные современные писатели – журналисты. Интерес к технике, к политике, к дипломатии – интерес к тем областям жизни, которые обычно привлекали журналистов, – в наши дни создает большую литературу. Все эти области захвачены борьбой между социализмом и капитализмом. От журналистского желания увидеть и объяснить рождается передовая, современная – нашего века, нашей эпохи – литература.

Я помню Ильфа юным. Внимание его было устремлено на Запад. Война тогда окончилась. После Версальского мира Европа процветала. До нас доходили слухи о триумфах Чаплина. Всеобщим увлечением сделался джаз. Появились новые моды. Слагалась эстетика машин. Все это чрезвычайно затрагивало воображение Ильфа. Он хотел увидеть эту жизнь в кино, в иностранных фильмах.

Запад казался заманчивым. Там носили пестрые шарфы, башмаки на толстых подошвах. Запад асфальтовых дорог, автомобилизма, комфорта. Запад с могилами Неизвестных солдат, с матчами, с боксером Карпантье. Как много можно было там увидеть!

Ильф побывал на Западе.

Что же увидел он и понял?

О чем с наибольшим волнением сказано в «Одноэтажной Америке»?

Об индейцах и неграх. Да, это книга об индейцах и неграх. В Америке увидел Ильф чистоту, благородство и чело-

вечность индейцев, презираемых белыми угнетателями. Он восторженно вспоминает о том, что индейцы отказываются разговаривать с белыми. С необычайной выразительностью описана история миссионера, который, вместо того чтобы насаждать среди краснокожих христианство, сам проникся духом индейцев настолько, что остался жить среди них, перенял их обычаи – и считал это огромной удачей своей жизни.

Нельзя без гордости за ум и душу советского писателя читать такие строки:

«...есть в Южных штатах что-то свое, собственное, особенное, что-то удивительно милое, теплое. Природа? Может быть, отчасти и природа. Здесь нет вылощенных пальм и магнолий, начищенного солнца, как в Калифорнии. Но зато нет и сухости пустыни, которая все же чувствуется там. Южные штаты – это страна сельских ландшафтов, лесов и печальных песен. Но, конечно, не в одной природе дело. Душа Южных штатов – люди. И не белые люди, а черные».

Вот что увидел Ильф в Америке. Это было последнее, что он увидел и рассказал. Такими великолепными словами окончилась его литературная деятельность.

Она окончилась очень рано, и мы чувствуем, как тяжела наша утрата.

Как жаль, что больше нет с нами Ильфа, милого Ильфа, неповторимого человека, нашего друга, спутника молодости!

Я хочу повторить слова поэта Асеева, сказанные им у гро-

ба Ильфа: о том, что Ильф был одним из тех людей, которым можно доверить свою жизнь.

*1937*

# Встречи с Алексеем Толстым

Вот рассказ о том, как я с ним познакомился.

Я помню, открываются какие-то двери (это происходит в 1918 году, в Одессе, у одного из местных меценатов, который пригласил нас, группу молодых одесских поэтов, для встречи с недавно прибывшими в наш город петербургскими литераторами, в том числе и с Алексеем Толстым), и в раме этих дверей, как в раме картины, стоит целая толпа знаменитых людей. Тотчас же я узнаю Толстого по портрету Бакста. Это он, он! Надо сказать, что наша группа (в ней, между прочим, среди других начинали также и такие впоследствии крупные деятели советской литературы, как Эдуард Багрицкий и Валентин Катаев) относилась к Алексею Толстому сложно: он не мог, разумеется, не вызывать в нас восхищения, однако в то время, как восхищение наше, скажем, Бунинным или Александром Блоком было чистым, восхищаться Алексеем Толстым – писателем, вошедшим в литературу позже, чем названные, – мешало нам как раз то рассуждение, что вот, мол, не слишком старше нас, а смотрите, как уже знаменит... Словом, мы восхищались Алексеем Толстым именно так, как восхищаются старшим братом, – не без оттенка некоторого раздражения, некоторой зависти. При такой предпосылке, естественно, могло бы случиться и так, что мы встретили бы его со сдержанностью... Но нет, я

смотрю на товарищей и вижу на их лицах радость! Ну конечно же, поскольку мы и всегда в глубине души понимали, что глупо ставить себя – начинающих! – на один уровень с автором «Хромого барина» и «Парижских рассказов», то теперь, когда он появился перед нами во всем своем очаровании, эта наша мальчишеская заносчивость улетучилась мгновенно!

Так вот какой он! Эта наружность кажется странной – может быть, даже чуть комической. Тогда почему же он не откажется хотя бы от такого способа носить волосы – отброшенными назад и круто обрубленными над ушами? Ведь это делает его лицо, и без того упитанное, прямо-таки по-толстяцки округлым! Также мог бы он и не снимать на такой длительный срок пенсне (уже давно пора надеть, а он все держит его в несколько отведенной в сторону руке) – ведь видно же, что ему трудно без пенсне: так трудно, что переносицей его даже завладевает тик! Странно, зачем он это делает? И вдруг понимаешь: да ведь он это нарочно! Ловишь переглядывание между ним и друзьями... Да, да, безусловно, так: он стилизует эту едва намеченную в его облике комичность! Развлекая и себя и друзей, он кого-то играет. Кого? Не Пьера ли Безухова? Может быть! А не показывает ли он нам, как должен выглядеть один из тех чудаков помещиков, о которых он пишет?

– Толстой! – представляется он первому из нас, кто к нему поближе.

Представляется следующему:

– Толстой!

И дальше:

– Толстой! Толстой! Толстой!

Мы – южане, и мы еще никогда не слышали такого выговора. Впечатление настолько сильное, что тут же им хочется поделиться... Я ищу руку соседа, вот она уже в моей (как видно, и он искал мою!), и следует рукопожатие, как бы говорящее: «Да, да, еще бы! Я в восторге! А ты?»

– Толстой! – льется музыка русской речи. – Толстой! Гляди, Амари, кошка у аквариума!

Пока гонят кошку, мы с жадностью рассматриваем того, к кому он обратился. Он вошел вместе с ним, этот Амари. Кто он? Амари! Это что же фамилия? Имя?

– Миллионер, – произносит кто-то поблизости шепотом.

– Миллионер? – переспрашивает кто-то довольно громко, не то не поняв, не то в ошеломлении от того, что видит миллионера.

Его толкают под бок – тише, мол, что ты! Лицо миллионера поворачивается на шум и на некоторое время становится нам, стоящим в этом месте (в том числе и мне), хорошо видимым. Попав в зеленый отблеск абажура, оно и само приобретает зеленую окраску, а так как это лицо с обвисшими на краях, как у викинга, усами красиво, то, став зеленым, оно не стало смешным, а, наоборот, жутким, – казалось, что медленно погружается на дно утопающий. Что ж, не далек срок, когда они и в самом деле погрузятся на дно – русские

миллионеры!

– А это Теффи! – сообщает один из нас.

– Теффи?

– Да, да, Теффи!

Подумать только, наше внимание настолько сосредоточено на Толстом, что мы, оказывается, равнодушно скользили взглядом даже по такой знаменитости, как писательница Теффи! Ведь появись она не в качестве спутницы Алексея Толстого, а сама по себе, ого, какая это была бы сенсация! Шутка ли – сотрудница «Сатирикона» Теффи! Ведь мы прямо-таки наизусть знаем ее превосходные (хоть написанные лишь во имя юмора, но тем не менее целиком в литературе) рассказы... Еще пишет она и стихи (гораздо ниже, разумеется, стихов ее сестры Мирры Лохвицкой). Мы и не ставим их слишком высоко, однако нам нравятся такие, например, строки:

Три юных пажа покидали  
Навеки свой берег родной,  
В глазах у них слезы стояли,  
И горек был ветер морской.

Конечно, все это дилетантизм: «покидали – стояли», «родной – морской», «пажи», «слезы», – но поскольку мы молоды, то нам приятно иногда просто погрустить.

Вскоре покинет «свой берег родной» и сама Теффи!

Случится это и с Толстым, – но как быстро, как бурно он

поймет свою ошибку!

– Ну что ж, господа, – раздаётся голос хозяина дома, – решайте сами: сейчас чтение или после ужина?

И вот длинный стол ужина, трилистники петрушки на заливных, – и так много нас, молодых и не слишком часто сытых поэтов, пришло на ужин, что некуда деть локти... То и дело Толстой, видим мы, наклоняется к сидящей рядом юной его жене, поэтессе Наталье Крандиевской, и что-то говорит ей. Это о нас, конечно. Вот он посмотрел на меня и что-то сказал. О, если бы знать – что! Безусловно, мы ему нравимся. И верно: как может не понравиться поэту и писателю, например, Багрицкий с его выражающейся во всем облике вдохновенностью, с его сверкающими, поистине как звезды, глазами, с его мощными высказываниями о поэзии, которые сквозь пиршественный гул все же доносятся до гостя? Как может не понравиться Адалис с ее молчанием и улыбкой какой-то странной статуи? Или Катаев с его градом острот?

Как может не понравиться Юрий Олеша, который... Вот как раз Юрий Олеша и провалился!

Я тогда написал цикл стихов на темы пушкинских произведений – с десятков вещей, каждая из которых являлась своего рода стихотворной иллюстрацией к тому или иному произведению: одна к «Пиковой даме» (стихотворение так и называлось – «Пиковая дама», и в нем изображалось, как Герман входит в зал, где сейчас проиграет), другая – к «Каменному гостю» (как статуя командора покидает кладбище),

третья – к «Моцарту и Сальери» (описывается наружность Сальери). Они у меня не сохранились, эти юношеские стихи; в памяти лежит только несколько обломков... Это было не совсем плохо! Например, в стихотворении, посвященном изображению самого Пушкина, сказано о цилиндре, в котором ходил поэт, что он смешной, а плащ поэта назван крылатым...

...в плаще крылатом,  
В смешном цилиндре тень твоя!

Также в этом стихотворении есть строки, в которых автор грустит по поводу того, что не может «согреть своим дыханием»

Его хладеющие руки  
На окровавленном снегу!

Впрочем, «хладеющие руки» взято из самого Пушкина: «Для берегов отчизны дальной»... Так в том-то и дело, что эти стихи были далеко не совершенными, а я, упоенный признанием товарищей и одесских критиков (один из них даже дал моему циклу выспреннее название – «Пушкиниианы»), считал их совершенными! Вот Толстой и свернул голову этой цыплячьей упоенности.

Сейчас я расскажу, как это произошло, но сперва пусть ликует воспоминание о том, как восхищенно слушал Алек-

сей Толстой стихи моих товарищей. Багрицкий прочел своего прославленного «Суворова», Валентин Катаев «Три сонета о любви...», Адалис выступила с тем, что представлялось ей подражанием древней поэзии, а на самом деле просто с превосходными стихами, отмеченными необыкновенной, даже неожиданной для начинающего поэта точностью слова; Борис Бобович – с его отточенным «Казбеком»; Зинаида Шишова, как и Катаев, тоже со стихами о любви, только более трагическими.

– Наташа, а? – слышалось из уст Толстого после каждого выступления. – Здорово!

Наташу я помню с серьезностью аплодирующей.

– Амари, а?

Как все усатые люди, Амари выражал одобрение именно пощипыванием уса.

Пока Толстой общался со своими, переглядывались также и мы. «Да, да, прочитывали мы в горящих взглядах друг друга, – мы показали себя старшему брату, показали!»

И вот, сберегаемый со своей «Пушкинианой» под конец – так сказать, для апофеоза, – собираюсь приступить к чтению и я. Товарищи выкликают мою фамилию особенно оживленно, и на некоторое время становится так беспорядочно шумно, что Толстой, видим мы, перестает понимать, что, собственно, происходит.

– Это Олеша! – раздается со всех сторон. – Олеша!

– Читай «Пушкиниану»!

– «Пушкиниану»!

Я решил начать как раз с «Пиковой дамы» – стихотворения, которое было признано всеми как лучшее в цикле. В первой строфе его приводилось описание зала, где происходит карточная игра. Самой строфы не помню, но обломок – вот он:

Шеренга слуг стоит, и свечи  
Коптят амуров в потолке.

То есть я нажимал в этих строках на то, что вот, мол, хоть зал и наряден, но так как главное здесь – страсть, игра, то, несмотря на нарядность, в зале все же господствует запустение: лепные украшения потолка закопчены.

Итак, я продекламировал:

Шеренга слуг стоит, и свечи  
Коптят амуров в потолке.

Кто находился когда-либо в обществе Алексея Толстого, тому, разумеется, среди многих вызывавших симпатию черт этого непревзойденно привлекательного человека, в особенности не мог не понравиться его смех – вернее, манера реагировать на смешное: некий короткий носовой и – я сравню грубо, но так сравнивали все знавшие Толстого – похожий на хрюканье звук. Да, правда, именно так и происходило: когда при нем произносилась кем-либо смешная реплика, Толстой

вынимал изо рта вечную свою трубку, смотрел секунду на автора реплики, молча и мигая, а потом издавал это знаменитое свое хрюканье. И это было настолько, выражаясь театральным языком, «в образе», настолько было «своим», что когда мы слышали смех Толстого, видели его смеющимся, то как раз в эти мгновения мы, может быть, реальней, чем когда-либо, ощущали его неповторимость.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.